# Коллекция Малатесты

# Роджер Желязны

Мне будет не хватать этих книг. Может, я просто стареющий пережиток тех развратных времен, однако мне нравится думать, что в моей привязанности есть и чисто научный интерес.

Но я ведь помог обнаружить их, и это единственное, что удерживает меня здесь теперь, когда их спрятали.

Не заблуждайся на этот счет, Космический Глаз, я говорю не от себя лично. Во всех нас есть что-то от меня, так же, как от Пола Малатесты.

Роден сейчас как раз взбирается на платформу. Книги спрятаны в ящик, ящик замурован в угловой камень, а статуя задрапирована.

Сегодня исполняется год с тех пор, как он сделал это открытие, совершенно случайно. Он копался в яме, этот чокнутый скульптор, раскапывал дыру во Времени. Это была одна из тех неразобранных насыпей, где иногда находят фрагменты древних цивилизаций. Он частенько ковыряется в них, надеясь наткнуться на бюст, торс или кусок фрески. Время от времени он наталкивается на потрясающие открытия.

Но коллекция Малатесты единственная в своем роде.

— Этот случай заслуживает некоторых комментариев, — начинает он. — Продиктовано ли это его печальной известностью или той ценностью, что он может представлять для историков, этого я сказать не могу. Но одно я могу сказать, — продолжает он. — То, что вы делаете, — неправильно. В свете вечных ценностей, вы совершаете грех, хороня то, что еще живо.

Вокруг него на платформе теснятся встревоженные лица. Но никто его не прерывает; никакое сопротивление невозможно перед массивным достоинством его девяноста лет. И он продолжает:

— Я добровольно принял участие в этой церемонии, потому что каждая могила заслуживает памятника, и это так же верно, как то, что корни порождают дерево. Каждый ушедший заслуживает достойного слова, хотя бы и с опозданием на столетия. Мы вызвали их на свет божий на краткий миг, и вы, дети света, были потрясены, ибо они оказались живыми. Теперь вы их хороните вновь, и меня, их отчима, позвали, чтобы увековечить то, что вы делаете. Я ненавижу вас, всех вас. Но вы должны выслушать меня — вы слишком вежливы, чтобы отказаться, — и, без сомнения, вы будете аплодировать, когда я закончу. Я помню день, когда мы нашли их...

Я тоже помню тот день. Его сухенькая фигурка в неизменном поношенном плаще ворвалась в мой кабинет, подобно стреле. Дверь громыхнула о стену, и он запрыгал с ноги на ногу перед моим столом:

— Идем, быстро! Я нашел душу наших предков!

Он заметался, как ласточка, сделав несколько ложных выпадов к двери, хлопая себя по карманам, и тут вдруг заметил, что я даже не встал.

— Поднимайся на ноги и идем со мной! — приказал он. — Это слишком долго ждало нас!

— Сядьте, — сказал я ему. — У меня через полчаса лекция по Древней Литературе. Лишь нечто в высшей степени важное может отменить ее.

Его белые усы разлетелись в стороны.

— Древняя Литература! Все еще умиляетесь Памелой и Давидом Копперфильдом? Позволь мне сказать тебе кое-что: есть вещи гораздо более великие, и они у меня!

У Родена была Репутация.

Он был чудаком, почти парией, игрушкой богатых, хотя и швырял им оскорбления прямо в лицо, друг художника, которого он всегда воодушевлял на труды, хотя и в инфантильной манере, — человек богемы в эпоху, когда богема не может существовать, поставщик дешевого искусства за комиссионные, творец искусства, которое осталось незамеченным. Величайший из живущих скульпторов.

В конце концов он уселся в кресло, едва не превратив меня самого в статую своим величием.

— Я не упрямлюсь, — извинился я. — Просто у меня свои обязательства. Я не могу срываться с места, пока не знаю, за чем предстоит охотиться.

— Обязательства, — повторил он обманчиво мягким тоном. — Да, пожалуй, это важно. В наши дни каждый пеняет на обязательства. Немного осталось людей свободного духа, охотников за Граалем, которые поверили бы старику на слово, что существует нечто действительно важное, на что можно потратить час-другой.

Мне было больно это слышать, потому что я уважаю его больше, чем кто бы то ни было — за энциклопедические познания в искусстве, за его зажигательную эксцентричность и за тот холодный огонь, который пылает в его работах.

— Простите, — сказал я. — Расскажите мне, в чем дело.

— Ты — преподаватель литературы, — возвестил он. — Я нашел для тебя непрочитанную библиотеку.

Я глотнул, зажмурился, и перед моими сомкнутыми веками поплыли полки с книгами.

— Старые книги? — прошептал я.

Он кивнул.

— Насколько старые?

— Многие относятся к девятнадцатому и двадцатому векам, но есть множество более древних.

Меня затрясло. Сколько лет мечтал я о такой находке! Насыпи в основном содержали мусор: бумага столь недолговечна.

— Много? — спросил я.

— Много, — признался он.

— Мне нужно сказать секретарю факультета, что лекции не будет. — Я встал. — Вернусь через минуту. Это далеко?

— Час езды.

Я полетел по коридору, сбрасывая с себя обязательства, словно перья.

Осмотрев их, мы не могли поверить в свою удачу. Их было так много, и все превосходно сохранились во тьме веков. Мощные стены строения уберегли их от влаги, старения, насекомых...

Я перебирал их дрожащими руками. Бэкон? Легендарный Шекспир, от которого до нас дошло только имя? Могли ли они так говорить? Я был очарован. Великолепная язвительность Марка Твена сохранилась — но это!

Я осторожно закрыл *1601* и вложил в защитную упаковку, которую захватил с собой. Открыл книгу, принадлежащую перу человека по имени Миллер.

Через десять минут мне стало плохо, очень плохо. Я взял бутылку вина, которую Роден извлек из-под плаща. Пока я пил, он хранил молчание.

Пристроившись в углу, он делал странный набросок в свете свечи.

То, что осталось от двух человеческих существ, покоившихся на том, что осталось от кровати. Я старался не смотреть в том направлении, но их позы не вызывали сомнения. Но мои глаза то и дело обращались на руки скелетов. Я видел, что они лежали обнявшись, когда упала бомба; я ощущал, как бетон сотрясался от взрыва, тщетно пытаясь остановить радиацию, поглотившую его создателя. И вот теперь скелет обнимал скелет в саду из книг, скаля зубы в адрес живых созерцателей.

Я сделал вид, что изучаю «Молль Фландерс», заслонившись книгой от этого зрелища.

— Это место называли убежищем отшельника, не так ли?

— Верно. Многие люди строили их перед темными временами.

— И этот человек, — я взглянул на изящный экслибрис на странице «Кама Сутры», — этот Пол Малатеста подготовил свое убежище довольно необычным образом, правда?

— Не знаю. — Он захлопнул альбом. — Не знаю, как они мыслили в те дни, но думаю, он оснастил его тем, что лелеял всю жизнь.

— Я преподаю литературу, — размышлял я вслух, — но никогда не слышал об этих книгах: автобиография Харриса, «Стихи по разным поводам» Рочестера, «Непристойности», «Гамиани», «Шлюхи», «Фестиваль любви» Корайата.

— Значит, пора услышать, — отозвался он, — поскольку они перед тобой.

— Но язык, — запротестовал я, — и предмет описания... все это так... так...

— Грубо? — подсказал он. — Приземленно? Примитивно? Сортирно? Неприлично?

— Да.

— Я нашел это место вчера. Всю ночь читал. Нам нужны эти книги, если мы хотим иметь верное представление о наших предках и самих себе.

— Самих себе?

— Да. Тебе бы лучше почитать вон те книги, — показал он на полку, — написанные неким Фрейдом. Ты думаешь, человек абсолютно рационален и морален?

— Конечно. Мы уничтожили преступность, образование стало обязательным. Мы далеко ушли от своих предков, как в этическом, так и в интеллектуальном плане.

— Чушь! — вновь фыркнул он. — Основополагающая природа человека оставалась неизменной на протяжении всей истории, насколько я могу понять.

— Но эти книги!..

— В те времена они уже летали на Луну, побеждали болезни, от которых мы страдаем до сих пор. Они признавали демонический дух Диониса, который живет в каждом из нас. Книги, которые дошли до нас, были просто наиболее многочисленными — маленькие тайники всегда снабжали нас самыми важными открытиями, — если только ты не почитаешь обилие признаком величия.

— Я не знаю, как они будут восприняты...

— Будут ли они восприняты, — тихо поправил Роден.

— Если вы выбрали путь демократизации искусства вне жизни, я бессилен остановить вас. Я могу только протестовать. Я могу частично оправдать вас в силу того, что вы все-таки решили не сжигать их. Но ваше решение заставить их дожидаться появления более квалифицированного поколения читателей равносильно вечному проклятию. И вам это известно, и я, в свою очередь, осуждаю вас за эту акцию...

Какой переполох, какую бурю критики, как научной, так и общественной, довелось мне тогда поднять!

Когда я принес коллекцию Малатесты в университет, из рядов профессуры раздались радостные возгласы, быстро сменившиеся удивленным поднятием бровей. Я не такой патриарх, как Роден, но в обществе, столь правильном, как наше, я достаточно стар, чтобы избежать открытых оскорблений. Но многие едва удерживались.

Сначала наступила растерянность.

— Это, безусловно, очень важная находка. Несомненно, книги проливают новый свет на историю литературы. Разумеется, они заслуживают самого пристального изучения. Но широкая публика... Словом, лучше подождать до тех пор, пока мы сумеем до конца оценить их.

Я никогда не сталкивался с таким отношением и сказал им об этом.

Мне показалось, что вокруг стола в конференц-зале сидят ледяные статуи. Они предпочли проигнорировать мои слова, лишь осуждающие взгляды поблескивали сквозь толстые стекла очков.

— Но Чосер, — настаивал я, — Хусманс, «Орестея»! Нельзя просто выбросить их вон только потому, что вам неприятно это читать! Все это — литература, квинтэссенция жизни, пропущенная через призму гениальности!..

— Мы не убеждены, — сказала одна из ледяных статуй, — что это является искусством.

Я взорвался и ушел с работы, но моя отставка не была принята, поэтому я все еще здесь. Литература — она как пирог, один кусок лучше, чем ни одного.

— Вы не выпустили их в свет. Вместо этого вы заточили их в краеугольный камень вашего нового Здания Философии — которое само по себе демонстрирует скрытую иронию жизни — и поручили мне, по прошествии года, соорудить им надгробие. Вы предпочитаете не использовать этого слова, но дабы смягчить муки совести — вы же люди высокоморальные — вы не смогли не увековечить величие того, чему были свидетели, хотя и отнеслись к этому с презрением. Я соорудил ваш мемориал — и это не мой обычный храм Маммоны, где ангелы моего раскаяния шныряют меж морских раковин, но памятник Человеку, такому, каким он был, есть и пребудет вечно... О, мертвый Малатеста, со своей бледной госпожой Франческой укрывшийся в радиоактивной печи, пока ракеты пели свой гимн смерти!.. Рыдала ли она? Что сказала она в последний миг? Я читал твой дневник вплоть до финальной записи в последний день: «Мы поджариваемся. Дьявол! Нас найдут так, будто мы начали...» Я восхищаюсь тобой, Маластеста, так же, как я восхищаюсь Кастильоне и Да Винчи, — эрудит, ученый и человек до мозга костей! Вращайтесь же по своим орбитам, человеческие атомы, вы сделали закат моей жизни более красочным... Это, — он протянул руку к темному покрывалу, — воплощение человеческого начала.

Он сдернул покров.

Университетский двор наполнился вздохами, а мои глаза — слезами. Роден совершил это! В какую бы кладовку, на какой бы чердак они это ни спрятали, его слава будет жить в сердцах потомков.

Стальные ребра, покрытые белой эмалью, — та ужасная поза! — руки скелетов в вечном чувственном объятии и исполненные похоти улыбки на лицах, лишенных плоти.

На бронзовом пьедестале высечена простая надпись: «Поцелуй Родена».

И тут до меня донесся голос из зала:

— Вот оно. Делайте с этим что хотите — но никогда не подпускайте меня к этому близко!

Невольные аплодисменты разбили тишину, смешиваясь со вздохами и тихими комментариями.

В тот день я уволился еще раз, на этот раз окончательно.